

Ю.Е.Пермяков*

МОДУСЫ ПРАВОВОГО ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ И ФОРМА ПРАВОВЫХ СУЖДЕНИЙ

В статье рассмотрена проблема связи юридических норм и модусов правового долженствования. Возможность правового суждения о наличии «своего» и «чужого» определяется символикой юридической процедуры.

Право, как и всякая иная форма социальной деятельности, помимо того, что обращает нас к проблеме дискретности и определенности всего сущего, свидетельствует также об уязвимости субъекта и его избирательном отношении к действительности. По Гегелю, долженствование порождается ограниченностью и конечностью сущего, оно может быть непосредственно соотносено с самим бытием и ничто [1, 195], но и его просыпающееся *в-себе-бытие* испытывает долженствование, по мере того как осознает собственные границы и начинает – уже в качестве равнодушного к собственному бытию субъекта – предпринимать некие усилия к сохранности собственной формы и мыслить сущее в пределах допустимых, методологически оправданных суждений.

Приобретение, изменчивость и возможность утраты чего-либо можно мыслить лишь из предположения об особой чувствительности субъекта к форме, посредством которой он находит себя существующим, различимым для себя и других. Мир социальных сущностей возникает и складывается в иерархическую картину, по мере того как человек связывает пределы собственного бытия с той или иной формой своего участия в совместной с другими людьми деятельности. Поэтому единство содержания и формы, фиксируемое нами в понятии *вещь*, предполагает безусловное участие субъекта в онтологическом становлении действительности, в связи с чем собственность, понимаемая в философии как материальная форма существования субъекта, на протяжении долгого времени служит теоретическим основанием признания правовых притязаний личности на собственное тело и шире – некую социальную предметность: жилище, орудия производства, знаки социального статуса, услуги и т.д.

Вещь обнаруживает способность к существованию, поскольку сам субъект предпринимает волевые усилия к сохранности ее формы, и в том, каким образом он осваивает материальный мир, всегда присутствует другой, опосредующий связь субъекта с вещами и собственным телом. Посредством признания другим моей предметности я приобретаю возможность знать себя в качестве социального тела и быть в единстве с самим собой, ибо то, чего я хочу, становится доступным лишь посредством того, каков я есть. Наше тело служит нам вещью, посредством которой мы обнаруживаем свое местонахождение, открываемся для диалога не только с внешним миром, но и с самим собой. Мое бытие, выраженное формулой «Я есть Я», было бы невозможно как чистое и окончательное тождество, поскольку «есть» – это всегда «это», предназна-

* © Пермяков Ю.Е., 2004

Пермяков Юрий Евгеньевич – кафедра теории и истории государства и права, международного права Самарского государственного университета

ченное стать «моим». «Я» при всей той свободе, которой субъект располагает по отношению к организации своей «самости», не может быть безразличным к своему наличному бытию. «Я» всегда «есть», эта ее ноша порождает наш интерес к форме всего воплощенного, *я-вленного*.

Чувственная связь с тем, что составляет «мое», уникальна, поскольку иным выходом в объективную реальность «Я» не располагает. Все, что я могу помыслить и захотеть, уже содержится во мне как совокупность способностей моего тела, психофизические и интеллектуальные возможности которого ограничивают свободу моей воли, ибо хотеть я могу лишь то, что способно чувствовать мое тело и что вмещает мой опыт, а мыслить лишь то, что представимо в моей голове. Я нахожусь в зависимости от всего «моего» и потому не могу игнорировать себя как объект. Крайность этого взгляда выражена в представлении о том, что мыслит в человеке мыслимое. Человек оказывается заложником собственной мысли, инструментом своего языка, функцией интерсубъективной реальности. Утрата единства с собственным телом чревата для субъекта его унижением или уничтожением, поскольку воля, целиком подчиненная действию, оставляет субъекта без всякой определенности относительно *своего* и *чужого*. Предельное дистанцирование «Я» от «моего» устраняет человека в качестве субъекта социального действия.

По мере того как субъективное вменение приобретало значение основополагающего принципа права, в философии утверждался тезис о единстве воли и действия. «Человек вообще должен прийти к тому, чтобы единство воли и действия стало для него столь же естественно, как механизм его тела и единство его сознания» [2, 34]. В таком случае именно форму социального бытия следует считать естественным законом существования личности, т.е. тем, что рационально ограничивает, сдерживает ее волю, определяет границы ее социального *со-держания*. Анархический выход за пределы социального пространства в таком случае сопровождается утратой своего тела, на которое всегда имеется власть формы. Отказ от своего тела и предметности, фиксируемый в области права как утрата правосубъектности, для человека означает уход в мифологическое пространство анонимных форм, когда он, растворяя себя в социальном целом, устраняет и само социальное как место встречи с другим. Не имея того, что я могу именовать своим, включая и суждение о себе самом и собственном небытии, я лишаюсь признаков жизни.

Политическая власть способна временно упразднить легитимность тех или иных форм собственности, но она не в состоянии ликвидировать субъекта, воспроизводящего в каждый момент своего бытия собственность как форму своего предметного существования, а стало быть, и социально-правовую форму собственности как образа или модели отношений к вещному миру. Поэтому в качестве исходной категории права собственность интересна постольку, поскольку ей предшествует притязание субъекта на обладание собственной телесностью. Аспект узнаваемости субъектом «своего» тела в окружающей его реальности нам важен для понимания связи модусов правового долженствования с модальностью правовых суждений, благодаря которым сами правовые отношения приобретают понятийную форму. Наше предположение состоит в том, что модусы правового долженствования, в частности, субъективное право и юридическая обязанность, взаимообусловленность которых в правоведении небезосновательно была поставлена под сомнение в начале XX века [3, 131], становятся очевидными не сами по себе и не в силу указаний законодательной власти, а в результате практикуемых правовых суждений. Иначе говоря, наличие и отсутствие права или обязанности следует понимать как возможность некоторого типа правовых суждений, допускаемых правовой процедурой.

Простейшее указание на вещь есть ее знак, наименование. Предмет абсолютно тождественен не своему понятию о нем, а своему имени, в котором содержится полное единство единичного факта и склеротичного субъекта. «Собственное имя, когда с ним встречаются в первый раз, экзистенциально связано с некоторым восприятием или иным эквивалентным знанием индивидуального объекта, который этим именем называется» [4, 179]. Когда я впервые указываю на что-то, я указываю только на него. Однако в своих притязаниях на обладание вещью я не могу руководствоваться ее именем, поскольку владение предполагает выход из одной ситуации, где происходит исключительное общение с ней, и вхождение в другую, где в общение с этим же предметом вступает другой. Вопрос о принадлежности того, что способно находиться лишь в исключительной собственности, теряет смысл. Мы обеспокоены лишь тем, что может стать иным и вести себя по-другому. Следствием того, что мой взгляд на вещь возможен как с позиции моего «Я» (имя), так и с позиции другого (знак), а также той общности, в которой я мыслю себя в единстве с другими (понятие), выступает неузнаваемость и неопределимость вещи при неизменности ее материальной природы. Так, спор юристов о том, что считать холодным оружием, заключает в себе проблему способов общения с теми людьми, которые способны его применить при встрече.

Представление о «моем» в процессе логического становления в качестве понятия проходит несколько стадий. Первоначально «мое» определяется как абсолютная данность, как то, что принадлежит исключительно мне. Я имею дело с именами и не способен вместить в отношение к *своему* отношение другого, о присутствии которого пока не подозреваю. Если он и существует, то лишь в качестве моей вещи, с которой меня связывают исключительно личные, индивидуальные отношения. Так, ребенок воспринимает свою мать как маму, а не жену своего отца или мать своего брата. Все, что содержится в сфере индивидуального и личного, имеет абсолютный характер единственного. А.Ф. Лосев пишет, что все – абсолютно индивидуально. Однако то, как он это объясняет, вызывает возражения. Он, в частности, пишет: «Все индивидуально потому, что все в каждый момент и в каждой своей части абсолютно ново, абсолютно небывало. ... Индивидуальность есть всегда новость, небывалое, а новость – это всегда возникновение» [5, 339]. Однако нечто может быть новым, потому что стало иным, не тем, чем было ранее. Указание на возникновение также не свидетельствует об индивидуальности, поскольку возникновение есть разлука с прошлым, с тем, что уже было.

Абсолютно-индивидуальное существует не в силу имеющихся отличий от другого, а по причине невозможности сравнения с другим, потому что не видно никакого другого. Инаковость ниоткуда не грозит. Коль скоро абсолютное не зависит ни от чего, кроме как от себя самого, единственное и уникальное бытие самодостаточного субъекта, дающего имена окружающим его предметам, не нуждается ни в каких суждениях, и даже суждение об абсолютном для него невозможно. Все познавательные вопросы решаются с помощью указательного пальца: с этим надо вести себя так, а с этим – иначе. И основательная аргументация здесь излишня, поскольку речь имеет значение сигнала, отпугивающего других обитателей от добычи: она не рассчитана на понимание и глубокий диалог. Имя вещи и есть образ единственно возможного отношения к ней. Абсолютное не подлежит оценке, его не с чем сравнить, с ним надо лишь считаться. О мире единственного субъекта можно сказать только то, что он таков, а другим он быть не может. Однако с мыслью об ином, возникающей вследствие онтологической несостоятельности абсолютно-индивидуального субъекта, заявляет о себе потребность в реализации абсолютного идеала в той сфере иного, к которой абсолютное непричастно. И потому суждение в области социального может быть моральным, правовым,

но не нравственным или религиозным. Нравственные идеалы оценке не подлежат, они могут лишь быть выраженными в той или иной форме. Но с формой они принимают значение моральных, эстетических или каких-либо иных ценностей, образующих пространство культуры. Одна культура не может быть лучше другой, собственная жизнь как целостность (судьба) ни с чем не сравнима, спор религий о собственном превосходстве превращается в спор политиков и военных. Суждение о должном оказывается возможным лишь внутри культуры, отчего правовые, в частности договорные, отношения между людьми и государствами никогда не могут интерпретироваться частным образом, с позиции единичного, но всегда предполагают юрисдикцию общих значений.

Притязание на обладание чем-то *как своим* возникает с возможностью иного, исходящего от другого субъекта. Здесь мое – это уже не то безразлично-всеобщее, которым я безраздельно владел, оно уже открыто другому и потому обозначено: я обладаю лишь тем, что признается моим со стороны другого, на что есть его воля и его способность к пониманию. Как только другой согласен именовать вещь, получившую имя от меня, его произнесение превращается в название, оно начинает выполнять коммуникативную функцию. Здесь активная роль принадлежит уже не мне как абсолютному собственнику всего своего, а другому, в чьей способности к признанию моего я кровно заинтересован. Поэтому я зависим в достижении своих целей от способности другого к суждению обо мне. В некотором смысле верно, что «моим» можно обладать постольку, поскольку эта возможность даруется другим. Поэтому форма суждения всегда принадлежит другому и от него же исходит. И о самом себе я могу говорить лишь так, как это мог бы сказать обо мне другой. Поскольку же другим выступаю также и я сам, когда, например, меняю свой статус, приобретаю новые качества (поступаю на работу, покупаю вещь и становлюсь собственником), цепочка суждений о моем, в котором сохраняется возможность смысла, обеспечивает преемственность моей субъектности и идентичность моего «Я». Смысл, в свою очередь, возможен не как объективное и статичное состояние реальности, а как интенция самого субъекта, стремящегося обрести свое «Я» как духовное благо. Поэтому не-право всегда сопряжено с таким бытием субъекта, который пренебрегает своей субъективностью и не усматривает никакого другого, в отношениях с которым только и могут быть востребованы формы и весь инструментарий права.

Представляется важным и другой аспект превращения индивидуально-определенной вещи в понятие: в процессе определения вещи мы не просто имеем перед собою именуемую предметность, но постигаем выраженную в этой предметности сущность. Рефлексивную природу сущности раскрыл Гегель, и нам важно этот момент сущности подчеркнуть: сущность отражает глядящего на вещь субъекта и не может быть тем, что недоступно его восприятию. Посредством понятия вещи, в котором всегда содержится то или иное понимание ее сущности, мы символически выражаем должное – ту связь, которая посредством правовой формы (статуса) определяет единство объекта с субъектом. Не случайно, что в ссоре люди часто перестают называть друг друга по именам, предпочитая воспользоваться фамилиями, кличками или понятиями (государственной должности, семейного положения, профессии и т.д.). Так становится наглядной взаимообусловленность правосубъектности и правовых суждений, благодаря которой предмет правового регулирования находит свой метод, и между людьми устанавливаются правовые отношения. Сообразность предмета и метода правового регулирования может послужить конструктивному разрешению конфликта лишь благодаря тому, что люди подчиняют себя дискурсу правовых суждений, способность к которым они приобретают вместе со своим статусом. Модальность правового суждения ограничена

правосубъектностью сторон правоотношений, т.е. пределами той правовой формы, которая определяет масштаб соразмерных действий и юридическую суть события. Обозначая нечто случившееся посредством юридического понятия, мы погружаемся в пространственную ситуацию, где к событию применимы некие нормативные критерии, которыми располагает власть. Понятие ограничивает не область фактического, а область мыслительной деятельности, из этого следует, что так называемые юридические факты принуждают нас мыслить какое-либо действие или событие особым образом, в частности, так, как это соотнобразится с компетенцией того юрисдикционного органа, который уполномочен на разрешение возможного спора. Когда люди оказываются неспособными применить друг к другу понятия права, это всегда свидетельствует об их нежелании подчиняться той логике, которая извне взрывает пространство личных отношений и устраняет бытие абсолютных ценностей.

В отличие от знака, понятие уже допускает суждение об обозначаемой им вещи с позиций социума, поскольку правовое притязание к кому бы то ни было возможно только перед инстанцией, персонифицирующей единство всех субъектов права. Понятие допустимо лишь при условии отстранения от вещи, поэтому «мое», определяемое посредством суждения, уже никогда не может быть моим всецело. Норма позитивного права по своей природе имеет дело только с понятиями (которые сами являют собою первые нормы), т.е. абстрактными определениями вещей и людей, в то время как индивидуальное притязание первоначально ориентировано на «то» или «это», оно знает лишь знак, соединяющий субъекта с внешним миром, и само существует в единстве со знаком. Субъективное право, форму которого принимает притязание, реализуется в конкретном правоотношении, где его предметность обозначена индивидуально: требуя, мы себя называем. Также и обязанное лицо вступает в правовые отношения не анонимно, но персонифицированно, как подлежащая ответственности за свой поступок личность. В то же время в своем притязании на обладание конкретной вещью я лишь тогда могу рассчитывать на социальное общение и гарантированную властью правовую защиту, когда способен относиться к вещи как понятию: в собственных детях я вижу своих наследников, и даже самого себя в обращении к должностным лицам государственных учреждений именуя гражданином.

Если подвести некоторый итог изложенным выше соображениям, можно сказать, что модусами правового долженствования выступают оформленные в некую модель состояния (образы) участников общения, обусловленные их восприятием друг друга (своего и чужого) и субъективной способностью находиться друг с другом в пространстве общего для них смысла (юрисдикции). Если другой в отношении со мной «тот» или «этот», то мы оба с ним перед инстанцией, к которой обращаемся за защитой, существуем в качестве «любого» (П. Рикер). Соответственно, и сама власть, если она не способна усматривать в вещи абстрактное понятие, вместо правовой защиты может предложить как прихоть свое личное покровительство «тому» или «этому», каждый из которых будет обязан власти за такое конфиденциальное внимание лично, но не «как таковой», что исключает возможность установления между властью и подданными правовых отношений, а, стало быть, и взаимных обязательств, исполнение которых доступно для контроля посредством правового суждения. Неспособность или нежелание законодателя относиться к объекту правового регулирования отстраненно, т.е. не как к знаку особого расположения, а как к понятию, порождает внутреннюю неустойчивость законодательства, предпочитающего конкретное распоряжение норме. Руководствуясь логикой подданнической власти, признающей мерой законности произвольно определяемый набор индивидуальных привилегий, законодатель может

утратить свою нормотворческую роль, и тогда мы становимся свидетелями своеобразного мифотворчества – «энергичной» законодательной деятельности, где недолгая жизнь нормативно-правового акта, скорее, свидетельствует о подспудном нежелании власти иметь устойчивый правопорядок, нежели о её декларируемом намерении неуклонно совершенствовать законодательную базу.

Каждый раз, когда вещь оказывается иной, мы вправе поставить вопрос о статусе другого субъекта и парадигме практикуемых им правовых суждений. В этом переходе заключена сущность иного: оно относится не к вещи, миру или бытию, а к субъекту, претендующему на обладание вещью. В его претензии мы усматриваем не одну лишь угрозу принадлежащей нам собственности, но и опасность для языка, на котором высказываем свои суждения. Выражающий предельное богатство смысла в общении, когда модус правового долженствования определяется взаимным влечением субъектов права друг к другу, язык общения может оказаться непригодным для ограждения от посторонних в случае их несанкционированного вторжения. Мы не нуждаемся в их помощи, когда битие кухонной посуды служит средством для восстановления добрых супружеских отношений. Непонятная логика внешних перемен, усматриваемых нами в истории предмета (бьют посуду, потом подсчитывают причиненные по собственной воле убытки), вполне объяснима: они подчинены тем состояниям, в которых пребывает человек, имеющий дело с вещью и посредством нее – с другими людьми. В зависимости от того, кого я имею своим контрагентом в социальном общении, меняется образ должного отношения к вещи и модальность практикуемых суждений о ней. И если бронированный автомобиль все же похож на средство передвижения, то ключи от ангара или водительское удостоверение уже слабо соотносятся с той предметностью, которую я мог бы назвать моей. О многих произведенных мной предметах я мог бы сказать словами Пикассо, возразившему восхищенному «Герникой» генералу: «это не моя, это ваша работа».

Модальность и сама возможность правового суждения задается в первую очередь представлением о том, какой предметностью располагает *другой*. Наше притязание своей предпосылкой имеет нечто увиденное и осязаемое. Я разговариваю с людьми так, как это следует из сложившегося у меня образа собеседника, прошу или требую от них лишь того, чем они сами располагают. Когда участники сделки обсуждают условия ее заключения, мы видим, что их взаимодействие еще не касается имеющейся у них предметности, последняя представлена символически – в виде знаков обладания теми или иными способностями, вещами или возможностями (сертификаты качества, свидетельства о праве собственности, дипломы о получении образования и т.п.). Соответственно, и сами субъекты права заинтересованы пока лишь в признании их отношений с собственной материальной формой, отчего их суждения о себе дефинитивны и в этом качестве не имеют критериев истинности. Понимая, что не только реальность, но и наше знание о ней может быть мошеннической уловкой, мы в традиции провинциального сознания хотели бы иметь надежные гарантии не только истинности нашего знания о фактах, но и достоверности нашей решимости полагаться на него. Ж.-Ф. Лиотаром был поставлен вопрос о двойной легитимации утверждения: «кто решает, что есть знание, и кто знает, что нужно решать?» [6, 28]. Надо признать, что в отношении содержания собственных притязаний я имею абсолютную власть, соединенную с абсолютным риском. Но поскольку объект моего притязания возможен лишь в пределах той или иной институционально заданной социальной формы, объем возможностей, которыми я располагаю благодаря доступу к чужой предметности, всегда соразмерен ресурсам политической власти оперировать знаками и осуществлять контроль над

мерой потребления чужой предметности. «Нужно, - пишет П. Рикер, - чтобы организация социальных систем являлась обязательным посредником признания, это должно быть подтверждено вопреки принципу общности, который стремится представить политическую связь как межличностную связь, примерами которой служат дружба и любовь» [7, 45].

Отказ от признания употребляемой в правовом общении символики не содержит в себе признаки гражданско-правового деликта: отказываясь от символов обладания, я покушаюсь на власть символов (например, когда отказываюсь принять в качестве средства платежа ту или иную валюту), и лишь это действие на стадии заключения договора может послужить основанием юридической ответственности и стать объектом утвердительного суждения. Сам же отказ от вступления в правовые отношения с другим не образует повода для вмешательства власти, поскольку легитимная власть, возможная лишь как институциональная форма единства субъектов права, способна распознать меня только в связке с другими. Пока это единство мыслится в будущем как возможность вступления в правовые отношения, предмет правового суждения ограничен тем, чем я располагаю – моим. Символизация собственной предметности происходит посредством декларации, именованием себя и обозначением собственного, на что я имею полное право, т.е. как гарантированную невозможность суждения обо мне со стороны. В гражданском праве предложение о заключении договора, именуемое офертой, волен сделать каждый. Выставленные на прилавке товары (символ оферты) подлежат продаже, равно как и форменная одежда должностного лица служит приглашением к общению с ним в символически обозначенных правовых рамках. Ориентируясь на символы, закрепившиеся в пространстве культуры, мы свободно выбираем форму правового должествования как жанр повествования о нашей дальнейшей жизни. Состоявшийся выбор – согласие как акт моей воли – также имеет символическую природу (подписанный и скрепленный печатью договор, регистрация поданной в суд жалобы и т.д.)

Без символического именования себя как распорядителя собственными действиями и признанием другого акт общения был бы невозможен. Определенность действия порождает согласованную уступку относительно границ своего и чужого. Право требования возникает лишь в пределах обозначенного действием пространства, в котором «моим» я обозначаю доступное в силу достигнутого соглашения с другим *чужое* как приобретенную мною новую возможность. По этой причине правовое суждение всегда оперирует понятием моего как обозначением присвоенной предметности. Если бы право оперировало категорией «моего» лишь в пределах естественного тела человека, было бы невозможно вменение вины при соучастии, когда активные действия, предпринятые исполнителем, предопределяют юридическую квалификацию бездействия пособника или интеллектуальные усилия организатора преступления.

Правовое притязание всегда обращено во вне, на те или иные вещи или состояния, которыми субъект пока что не располагает. Основательное притязание («хочу, чтобы...») мы именуем своим правом, подразумевая возможность легитимного суждения о сделанном нами заявлении. Однако мыслить о предмете моего желания, подчиняющегося лишь воле моего воображения, у инстанции нет никаких оснований. Единственное, что способно оказаться предметом оценки, представлено формой моего заявления, выбранным мною дискурсом. Если я точно укажу имя и местонахождение ответчика, суд обязан принять от меня жалобу на несовершенство мира. Удачно найденная процессуальная форма, предполагающая возможность утвердительного заключения юрисдикционного органа относительно моего притязания, приобретает зна-

чение символа субъективного права. В правоприменительной практике потерпевшими именуют не тех, кто пострадал от правонарушения, а тех, чей статус позволяет заявлять ходатайства и требовать возмещения ущерба. Если зависимость суждений от правовой формы считать некой точкой отсчета в определении своих правовых возможностей, единственной модальностью, которой мы бы располагали в своих суждениях, оказалось бы дозволение.

С определением субъективного права как формы дозволенного поведения трудно согласиться, поскольку субъект правового притязания ни о каком дозволении не помышляет и не способен, не изменив себе, воспринимать поле своих возможностей через призму интересов государственных учреждений. Заключая сделку в собственных интересах, мы руководствуемся не исполнением предписания, содержащегося в норме, а тем смыслом, в пространстве которого находится место этому юридическому факту. Исполнять правовые предписания, следует согласиться с Г. Кельзеном, может лишь правовое учреждение – юридическое лицо или юрисдикционный орган, наделенные полномочиями, кругом задач и ответственно предпринимающие действия в пределах своей компетенции. Дозволения исходят от легитимной власти, и потому такое привычное для науки определение субъективного права оправдано лишь в терминах патерналистически ориентированного государственного управления. Поскольку термин «дозволение» уместно применять лишь к исполнителям юридических предписаний, мы, строго говоря, в этом случае имеем дело с определением полномочия власти, но не субъективного права. По этой причине исследования права, имеющие своим непосредственным предметом юридические нормы, как правило, не выходят за пределы т.н. правоохранительных отношений, где вертикальные связи юрисдикционного органа и исполнителя властного предписания интерпретируются только в одной плоскости – как разрешающие или запрещающие нормы-предписания. Если согласиться с недвусмысленным заявлением Г.Х. фон Вригта, в котором он определил деонтическую логику как логику выполнения норм, следует признать, что для правовых суждений, в которых не участвуют нормы, в деонтической логике места нет [8, 290]. Тогда взаимные обязательства, порождающие долженствование, международные соглашения и судебные прецеденты, не говоря уже об ухищрениях адвокатов найти в законе брешь в интересах клиентов и обойти невыгодные им предписания закона, не могут быть описаны как исполнение нормы. Так, суждение о том, какой процедурой из двух возможных следует воспользоваться при обжаловании незаконных действий представителей власти – судебной, когда жалоба подается в суд, или административной, когда она адресована вышестоящему учреждению, – не является исполнением юридической нормы и потому не составляет предмет изучения деонтической логики. Вместе с тем суждение адвоката о том, что с учетом конкретных обстоятельств дела следует обратиться, например, в суд, должно быть сочтено правовым, поскольку определяется статусом истца, ориентировано на юридические процедуры, последствия и юридическую силу ожидаемого определения судьей о принятии дела к производству. О.Э. Лейст отмечает, что «аппарат абсолютной деонтической логики (относящийся к деятельности одного и только одного субъекта) оказался недостаточным для раскрытия содержания норм права, так как по законам абсолютной логики содержание норм сводится к повелениям и запретам. Без достаточного объяснения остались «разрешение» или «дозволение» и тем более «управомочивание», составляющие существенное качество правового регулирования» [9, 53]. Нет сомнения в том, что выбор того или иного варианта защиты законных интересов, предусмотренного диспозитивной нормой, является ее исполнением. Но можно ли описать логическое обоснование самого выбора нормы, которое проис-

ходит без участия каких бы то ни было формализованных критериев, как логическое суждение, к которому невозможно применить критерии истинности?

Субъект испытывает необходимость в избрании той или иной формы волеизъявления и лишь по этой причине готов считаться с тем, что некая инстанция устанавливает форму и критерии юридически допустимых суждений. Субъект права, мысленно оставаясь в пределах действия правовых норм, испытывает уверенность в легитимности своих суждений, для него внешнее дозволение есть знак единства с социумом, которому он принадлежит и на чью защиту он рассчитывает. Моделируя юридические последствия своих поступков, индивид определяет линию поведения в конкретной ситуации, в которой находит себя субъектом права. Поэтому модальность правового суждения всегда связана с предметностью, в которую субъект заключен. В области права этой предметностью выступает статус, правовое положение, опосредующее связь субъекта с реальностью, которую никто из нас не воспринимает чистой объективностью. Выказывая свое отношение к реальности посредством правового суждения, индивид обозначает местопребывание в ней и тип своего отношения к занимаемому месту. Правовое суждение не подчинено нормам, но само способно выбрать их для категоризации бытия субъекта. Этот вывод колеблет устои современной правовой науки и ее понятийный аппарат. В современной теории уголовного процесса перекосы правоприменительной практики до сих пор привычно именуются следственными и судебными ошибками. В чем же ошибается правонарушитель, будь то типичный вор-злоумышленник или пренебрегающий процессуальными тонкостями слуга закона? Если их поступки и могут быть упречны, то именно потому, что юридические нормы, подлежащие применению, были ими определены правильно. Такое положение дел мы имеем, например, в случае фальсификации доказательств, бегства из-под стражи, умышленной неявки ответчика в суд или покушения на жизнь наследника или кредитора, которому принадлежит право требования имущества с должника. В последнем случае вряд ли уместно говорить об исполнении нормы гражданского права, хотя понятно, что именно установленный ею порядок послужил обстоятельством, определившим выбор объекта преступного посягательства – человека, с жизнью которого связана юридическая судьба того или иного имущества.

Тот факт, что юридическая осведомленность и знание санкционированных государственной властью юридических норм могут послужить логическим основанием для вывода о нецелесообразности правомерного поступка, нам интересен не тем, что служит банальным поводом для социальной критики правовой культуры правоприменителей, а тем, что обращает лицом к проблеме разнообразия модусов правового должествования и, соответственно, производных от них модальностей правового суждения. Действительно, если из одной нормы как формализованного представления о должном возможно вывести несколько вариантов поведения, следует по меньшей мере признать, что в тексте самой нормы, которая однозначно подлежит применению, форма должествования непосредственно о себе не заявляет.

Круг возможных интерпретаций нормы и ее элементов может быть широким или узким, но ни про одну норму, коль скоро интерпретация составляет условие ее применения, мы никогда не скажем, что она императивным образом указывает на то или иное должное. Должное вырисовывается лишь из правового суждения, конструкция которого определяется законодателем с помощью юридических понятий и той совокупностью средств, которые образуют юридическую технику. Однако законодатель бессилён придать должному свойства очевидного обстоятельства, он не может произвести на свет субъекта правового суждения и содержащиеся в нем интенции. Законо-

датель создает одни лишь логические предпосылки для правового суждения, истинность которого проявляется как его юридическая сила.

Если должное, в отношении к которому вопрос о модальности правового суждения приобретает свою предметность и практическую значимость, не обусловлено юридической нормой, но раскрывается через отношение субъекта к действительности как ее смысл, мы должны признать, что различие модусов правового долженствования – прав и обязанностей – не составляет компетенции законодателя, власть которого ограничена текстом нормативно-правового акта. Его содержание может включать в себя такие формулировки, относительно которых интерпретация нормы как вменение в обязанность совершения тех или иных действий не вызовет возражений лингвиста.

К мысли о том, что модус правового долженствования не определяется текстом нормативно-правового акта, отечественные правоведы были готовы давно. В 1983 г. И. Грязин писал о том, что «правовой текст, как и любой другой, не обладает нормативной природой и является лишь определенным описанием действительных состояний» [11, 131]. Задаваясь вопросом о том, откуда же проистекает модальность, автор предположил, что, «следуя общей установке, возможен лишь один ответ – из нормативной модальности, находящейся в самом субъекте. Рациональная же форма текста этой модальности не раскрывает, а служит лишь катализатором ее проявления в субъекте» [11, 132]. Действительно, если мы обратимся к части второй статьи 131 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, то узнаем, что должно быть указано в исковом заявлении. Но достаточно ли законодателю употребить глагол «должен» во множественном числе настоящего времени, чтобы адресаты этой нормы восприняли перечень действий как возложение обязанности? Ведь можно согласиться и с тем, что исполнение требований закона о форме и содержании искового заявления служит условием реализации права граждан на обращение в суд, т.е. интерпретировать данную норму как законодательное закрепление субъективного права граждан на обращение в суд с иском. Как следует трактовать запрет на убийство и причинение телесных повреждений – как возложение на граждан обязанности воздержаться от несанкционированного государством лишения жизни и причинение увечья или юридическое оформление неотъемлемого права личности на жизнь и телесную неприкосновенность?

Ссылки на принуждение к действию и ограничение инициативы, что, по мнению большинства юристов, отличает обязанность от субъективного права, удовлетворительно этот вопрос не проясняют. Даже в том случае, когда неисполнение обязанности сопряжено с претерпеванием мер юридической ответственности, не так просто убедиться в том, что поведение обязанного лица не являет собою форму реализации его субъективного права.

Возложение обязанности невозможно без того, чтобы не удостоверить зависимость обязанной стороны – либо от свободного волеизъявления другого участника правоотношения, либо от юридической формы, внутри которой эта обязанность выполняет какие-либо функции. Действие, рассматриваемое вне юридической процедуры, не может быть сочтено нами ни как исполнение обязанности, ни как акт свободного самоопределения – реализация своего субъективного права. Передача вещи в чужую собственность не предопределяет вопрос о ее оплате, как это имеет место при заключении договора купли-продажи, и не содержит в себе основание для вывода о безвозмездном приобретении, что мы имеем в случае дарения. Правовые оценки события в качестве «купли», «продажи», «дарения» сопровождаются выводами о содержании правоотношения и объеме взаимных прав и обязанностей лишь после того, как сами были

артикулированы вступившими в общение контрагентами. Предложение о заключении сделки есть выбор юридической формы общения и тех моделей правовых суждений, которые благодаря этой форме могут быть высказаны.

Определение права как свободы, ограниченной нормой, ориентирует нас на признание ролевой значимости нормы, без которой теряется определенность внешней свободы. Ценность нормы состоит в том, что посредством содержащихся в ней признаков и понятий законодатель определяет пределы допустимых суждений. Помещенная в пространство между знаком и смыслом, правовая норма призвана по воле законодательной власти соединять их, чтобы участники правоотношения не теряли из вида друг друга и никогда бы не выходили из области обозначенного смысла. Диалектический характер взаимодействия прав и обязанностей, таким образом, определяется соотношением содержания и формы индивидуальной свободы: в неоформленном виде свобода никак не сможет о себе заявить. И потому зависимость от формы, игнорирование которой сопряжено с утратой смысла, диктует такой способ обхождения с реальностью и ее агентами, который мы называем обязанностью. Этот модус правового долженствования отличается наглядной зависимостью от реальности. Поэтому форма правового суждения представляет собою юридическое предписание с требованием о совершении какого-либо определенного действия либо воздержании от него.

Обязанность всегда ближе к правовой форме, ее связь с нормой доступна фиксации в наибольшей степени, в то время как смысл правового поступка наглядней раскрывается через поведение правомочного субъекта. Его связь с реальностью выражена слабее, он может позволить себе игнорировать ее требования, навязывая своим контрагентам условия общения. Мы можем легко представить себе приобретателя недвижимости, который по каким-либо причинам не зарегистрировал сделку, как того требует закон, и тем самым осложнил свое положение в качестве законного распорядителя имуществом. Но исполнение обязанности, в которой не просматривается чей-либо свободный выбор, представить себе намного труднее (оплата государственной пошлины без обращения с заявлением в суд, извинение при отсутствии оскорбления).

Связь основных модусов правового долженствования, таким образом, утаивает в себе отношение смысла и средств его выражения. Обладатель субъективного права всегда нуждается в содействии со стороны других людей, которые в разном качестве составляют фактуру его индивидуальной свободы. Обязанное лицо не посвящено в смысл свободы своего контрагента, поэтому исполнение юридической обязанности трудно объяснить прагматически ориентированным гражданам. И в той мере, в которой исполнение обязанности перестает быть изнурительной работой по укрощению своеволия, мы рассчитываем на главное приобретение в процессе социального общения – личность другого, раскрывающуюся только в свободе. Модусы долженствования, определяющие интенции правового общения, разнообразны, как разнообразны возможные комбинации статусов участников правоотношения. Собственно говоря, именно правосубъектность сторон и определяет юридический язык, на котором им предстоит выяснить фактические обстоятельства взаимодействия. Договариваться можно лишь с равным. Отдавать приказания – лишь подчиненному. Когда модусы долженствования выбираются произвольно, т.е. без учета правового положения субъектов и безотносительно к процедуре, в рамки которой всегда заключен заявляющий о своих притязаниях субъект, мы наблюдаем неестественные для участников правоотношений действия, которые не вписываются в логику процессуальных взаимоотношений. Например, адвокат во время слушания дела заявляет протест на действия судьи, в то время как единственно возможная форма (процессуальная модель правового суж-

дения), в которой он может донести свое мнение до суда, представлено ходатайством, т.е. мотивированной просьбой. Протест, поскольку его содержанием выступает то или иное категоричное требование, в отличие от просьбы, предполагает менее зависимый от властной инстанции статус лица (прокурор, председатель областного суда и т.п.)

Целостная форма (модель) правового суждения образуется из символизации собственной предметности, которой располагает субъект права (статуса), модальности правовых суждений (процедурой, внутри которой высказываемые притязания могут быть услышаны другой стороной), и полномочий инстанции, компетентной выносить авторитетные решения о соответствии заявленных притязаний статусу того или иного субъекта права. Соответственно, правовая норма, в которой содержатся формальные условия правового суждения, имеет более глубокое и богатое содержание, нежели то, что именуется юридическим предписанием, правилом поведения, дозволением или запретом.

Библиографический список

1. Гегель Г. В. Наука логики. Т. 1. М., 1970. Здесь и далее в скобках указаны номера страниц.
2. Шеллинг Ф. Ранние философские сочинения. СПб., 2000.
3. Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1999.
4. Пирс Чарльз Сандерс. Из работы «Элементы логики. Grammatica speculativa» // Семиотика: Антология. – М.: Екатеринбург, 2001.
5. Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994.
6. Лиотар Жан-Франсуа. Состояние постмодерна. – М.: СПб., 1998.
7. Рикер Поль. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995.
8. фон Вригт Г.Х. Логико-философские исследования. Избранные труды. М., 1986.
9. Риккерт Генрих. Философия жизни. Киев, 1998.
10. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002.
11. Грязин И. Текст права (опыт методологического анализа конкурирующих теорий). Таллинн, 1983.

Y.E. Permyakov

THE MODES OF THE LEGAL DUE AND STATEMENTS

The article deals with problems of the juridicial norm's connection with modes of the legal duty and right. The possibility of statement about «mine» and «other's» is determined by the simboles of the legal proceedings.